

18+

ИГОРЬ АНИКАНОВ

БЛАЖЕННЫЙ

Заметки надшезо



Игорь Аниканов

Блаженный. Записки падшего

«Издательские решения»

Аниканов И.

Блаженный. Записки падшего / И. Аниканов — «Издательские решения»,

Это очень живая и глубокая история об отце и сыне, которые при жизни так и не смогли по-настоящему понять друг друга. Эта книга — о боли, прощении, запоздалой нежности, о поиске Бога и о том, что любовь иногда приходит не туда, где всё правильно, а туда, где всё давно разбито. Если совсем просто: это книга, после которой хочется молчать, плакать и обнять тех, кого ещё можно успеть обнять.

© Аниканов И.

© Издательские решения

Содержание

Блаженный	6
Глава 1. Коробка	7
Глава 2. Стыд как броня	12
Глава 3. Голос Андрея	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Блаженный Записки падшего

Игорь Аниканов

Редактор Кристина Степанова

© Игорь Аниканов, 2026

ISBN 978-5-0069-9490-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Блаженный

Игорь Аниканов

Глава 1. Коробка

Коридор был холоден от старого камня. За годы он впитал шаги, молитвы, вздохи, шорох подрысников и то особое монастырское молчание, которое не давит, а словно стоит в воздухе, как тонкий невидимый дым.

Отец Алексей шёл после послушания к своей келье, ещё чувствуя в ладонях шероховатость верёвки и тяжесть вёдер: утром он мыл трапезную, потом помогал в кладовой, перетаскивал мешки с крупой, складывал ящики, вытирал полы. В монастыре никто не освобождался от простых дел, и это было одной из немногих вещей, которые по-настоящему успокаивали его: пока руки заняты, сердце не так слышит самого себя.

У канцелярии его окликнули негромко.

Никита, молодой послушник, стоял у стола с бумагами и держал в руках коробку. Он был ещё слишком юн для монастырской сдержанности, и потому любая попытка выглядеть собранным делала его только беззащитнее. Он переступил с ноги на ногу, поднял глаза и сразу опустил их снова.

— Отец Алексей... — начал он и замолчал, будто споткнулся о собственный голос. Потом выговорил тише:

— Сожалею.

Слово прозвучало неловко, по-человечески. В нём не было ни канцелярской гладкости, ни привычной церковной округлости. Никита, видно, и сам не знал, как в таких случаях говорить правильно. И в этой неуклюжести было что-то честное. Отец Алексей коротко кивнул, принимая и коробку, и это с трудом найденное слово. Внутри у него уже поднималась старая, сухая, почти безошибочная защита: не впускать, не расплёскиваться, не давать себе лишнего.

На коробке белела наклейка с печатью и ровными строками чужой руки: фамилия, инициалы, дата. Смерть была оформлена как пересылка имущества. Это всегда поражало его своей безжалостной аккуратностью. Когда человек уходит, остаётся список вещей. Когда жизнь заканчивается, остаётся упаковка.

Коробка была тёплой от никитиных ладоней и тяжёлой не столько по весу, сколько по смыслу. Он понёс её по коридору, и ему вдруг показалось, что братия смотрит не на него, а на неё, на эту простую прямоугольную вещь в его руках. Она за несколько секунд вернула ему состояние, от которого он так долго пытался уйти: он снова был не только монахом, но и чьим-то сыном.

До кельи он дошёл быстро, хотя запомнил дорогу почти по шагам. Скрипнула дверь. За окном, в монастырском дворе, кто-то коротко окликнул другого брата. Где-то далеко звякнула ложка в трапезной. Потом всё стихло.

В келье было тепло. Печь протопили ещё утром, и сухой жар держался под потолком. На столе лежали молитвослов, карандаш, несколько листков с пометками для исповеди, старая записная книжка. Жизнь отца Алексея давно научилась уместаться в несколько необходимых

предметов и в ритм служб. Он поставил коробку на стол и какое-то время просто смотрел на неё, как смотрят на дверь, которую всё равно придётся открыть.

Потом развязал верёвку.

Крышка подалась с тихим хрустом. Изнутри поднялся запах старых вещей: пыль бумаги, холодный металл, слежавшаяся ткань, что-то ещё — неуловимое, но мгновенно узнаваемое. Так пахли отцовские куртки после гаража. Так пахла их лестничная клетка в девяностые, где вечно тянуло сыростью и табачным дымом. Память ударила быстрее мысли. Отец Алексей даже задержал дыхание, будто можно было не впустить этот воздух в себя.

Первой под руку попалась вервица. Тёмная, простая, узелковая. Он машинально провёл большим пальцем по узелкам. Тело сразу узнало это движение, привычное, успокаивающее, почти бессловесное. Но мысль не отпускала: откуда она у отца? Откуда у человека, которого он столько лет внутренне отделял от всего церковного, взялась эта простая монашеская вещь? Ответа не было. Только короткое внутреннее смущение, почти досада на сам вопрос.

Под вервицей лежал небольшой тканевый мешочек. Он был изношен на стигах, потемнел от времени и рук. Отец Алексей развязал его и вытряхнул на ладонь длинные деревянные чётки. Бусины были простые, тёплые на вид, словно впитали дорогу, пот, чужую жизнь. Он не собирался держать их в руках дольше необходимого, но пальцы всё равно машинально начали пересчитывать их, будто пытались нащупать в неизвестном хоть какой-то порядок. Это движение сразу смутило его. Он положил эти чётки рядом с вервицей, и от этого соседства в келье стало внутренне теснее. Его учили различать. Его учили хранить границы. Его учили не смешивать то, что нельзя смешивать. Но сейчас на столе лежали всего лишь две вещи для молитвы, и собственное сердце не спешило поддерживать его строгие разграничения.

Следом он достал ламинированное изображение Кришны. Оно было слишком ярким для этой кельи. Голубизна, золото, цветы, мягкая улыбка — всё в нём казалось праздничным, даже чересчур. В монастырской тишине эта картинка выглядела почти вызывающе живой.

И вдруг вместе с раздражением поднялось воспоминание.

Когда-то такие изображения лежали у них дома повсюду: на книжной полке, на холодильнике, между страницами каких-то отцовских книг, в ящике стола. В детстве он ещё не стыдился этого по-настоящему. Стыд пришёл позже, когда появились друзья, дворовые компании, первые грубые школьные насмешки, первая острая потребность быть как все. Тогда он, бывало, убирал картинки с видных мест, когда кто-то собирался зайти. Не выбрасывал — на это не хватало ни смелости, ни права, — но прятал. Засовывал между книгами, переворачивал изображением вниз, сдвигал в угол. Ему хотелось, чтобы дом выглядел нормальным. Обычным. Чтобы в нём не было ничего такого, о чём потом пришлось бы объясняться.

Теперь, держа эту ламинированную карточку в руках, он почувствовал старый, почти подростковый стыд — и ещё что-то тяжелее стыда: понимание, что прятал он тогда не картинку. Он прятал отца.

«Зачем ты пронёс это через всю свою жизнь?» — почти с досадой подумал он и сразу понял, что вопрос обращён не к изображению.

На дне коробки, в углу, лежал маленький сухой плод. Харитаки. Он не пах. Просто лежал — тёмный, сморщенный, твёрдый, почти невзрачный. Но оттого, что отец хранил его рядом с вервицей, длинными деревянными чётками и тетрадью, плод почему-то не казался случайной мелочью. Отец Алексей взял его двумя пальцами и долго смотрел.

Он помнил, что отец когда-то говорил об этом плоде с каким-то особенным уважением. Помнил смутно: что-то связанное с индийским святым, чьё имя он тогда не запомнил и не захотел запоминать. Тогда ему всё это казалось чужим, избыточным, почти нарочно чужим. Сейчас от этого смутного знания стало только тяжелее: значит, и этот невзрачный плод был для отца чем-то дорогим, а значит, за ним тоже стояло что-то живое, чему он когда-то не дал даже шанса быть услышанным.

И вместе с плодом поднялось давнее воспоминание.

Кухня их старой квартиры. Потрескавшаяся клеёнка на столе. За окном ранняя темнота. Отец что-то протягивает ему через стол — не этот плод, нет, какую-то горькую аюрведическую таблетку, растёртую пополам, и говорит, стараясь не раздражаться:

— Выпей. Поможет.

Алексей тогда был подростком и ненавидел в отце всё, что выходило за пределы привычного мира: его внезапную мягкость, его новые слова, его нелепую, как казалось, заботу, его упорство, с которым он пытался не спорить, а удержать рядом. Он демонстративно выплюнул горькую таблетку в раковину и даже не посмотрел, как отец отреагирует. А когда всё-таки посмотрел, увидел не гнев. Только усталость. Такую тихую, что от неё стало ещё злее.

Теперь, спустя годы, в келье стало ясно: тогда он выплюнул не горечь. Он выплюнул самую возможность быть сыном.

Отец Алексей медленно положил харитаки обратно в коробку. Не бережно и не грубо — просто так, будто возвращал на место чужую вещь, смысл которой пока не готов был принять.

Последней он нащупал тетрадь. Толстую, в тёмной картонной обложке, перетянутую резинкой. На резинке виднелись следы частого использования: её много раз снимали, надевали, снова снимали. Он провёл пальцем по краю обложки. Тело узнало шероховатость раньше сознания. Было что-то страшно убедительное в этом простом, почти школьном предмете.

Он снял резинку.

Листы внутри слегка повело от времени и сырости. На первой странице стояло название:

Блаженный

Ниже, чуть мельче:

Записки падшего

Почерк был отцовский. Отец Алексей узнал его сразу — не по буквам даже, а по нажиму, по этой манере словно продавливать бумагу, как будто ручка тоже несла в себе характер хозяина. Буквы шли неровно, местами тяжело, но упрямо. В них не было красоты. В них было намерение дойти до конца.

У него неприятно дёрнулось сердце. На одно мгновение захотелось закрыть тетрадь сразу, не читать ни строчки, отнести всё в шкаф, дожидаться утра, дожидаться благословения, дожидаться чего угодно, лишь бы не входить в этот разговор с мёртвым человеком, которого он так долго и старательно не пытался понять живым.

Но он всё-таки открыл первую страницу.

И прочёл несколько строк.

В них не было ни религиозной красоты, ни оправданий, ни жалоб. Отец писал так, будто уже не собирался нравиться. Будто все уловки, которыми люди прикрывают стыд, к старости стали ему просто не по силам.

Отец Алексей прочёл ещё раз и вдруг с пугающей ясностью почувствовал, что читает не только про отца. Он читает про себя. Про ту схему, которую выстроил за многие годы, чтобы не видеть живого человека. Про удобный приговор, которым можно прикрыться, если не хочешь страдать: криминал, сектант, чужой, опасный, не наш.

Ярлыки поднялись в памяти мгновенно, один за другим, как старые доски, которыми годами заколачивали окно. И стало видно, что это были не убеждения. Это была броня. А броню надевают не от силы, а от страха.

Он захлопнул тетрадь слишком резко. Звук хлопка прозвучал в маленькой келье почти вызывающе. Отец Алексей даже поднял голову, будто действительно ожидал, что сейчас кто-то войдёт и спросит: что у тебя на столе? что ты читаешь? почему это здесь?

Но никто не вошёл.

За стеной слышались чьи-то шаги. Потом всё стихло.

Монастырь продолжал жить своей ровной жизнью, не зная, что в одной из келий на столе лежат сразу несколько вещей, для которых не находится простого места: чужая смерть, чужая вера, чужая нежность, которой он когда-то не захотел дать имени.

Он сидел, глядя на тетрадь. Потом осторожно положил ладонь на обложку, как человек, который боится ожога правды.

— Не надо, — сказал он себе почти вслух.

И тут же изнутри, снизу, из той глубины, где человек редко слышит собственные слова заранее, поднялось другое:

Надо.

Он снова открыл тетрадь.

Глава 2. Стыд как броня

В келье стояла та особенная тишина, в которой слышно не стены, а самого себя. Отец Алексей сидел на краю лавки, будто на пороге: он ещё не вошёл по-настоящему в то, что лежало на столе, но и отступить уже не мог. Коробка с отцовскими вещами оставалась открытой, хотя и не распахнутой до конца, словно рана, к которой человек боится прикоснуться слишком прямо.

Он поймал себя на том, что дышит неглубоко, почти бережно, как дышат на службе, когда бояться выдать внутреннюю суету лишним движением плеч или слишком слышным вздохом. На столе лежала рукопись. Рядом — ткань, под которой было спрятано ламинированное изображение Кришны. Он накрыл его не потому, что хотел спрятать картинку от чужих глаз: в келье, кроме него, никого не было. Он накрыл её так, как накрывают слишком яркую вещь, когда не готовы выносить её присутствие. И сразу понял, что прячет не изображение. Прячет дрожь, которая поднимается в нём при одном слове «отец».

В руке сами собой оказались его монастырские чётки. Тёмные, мягкие, давно принявшие форму ладони. Он медленно перебирал узелки, и молитва поднялась в нём почти беззвучно, как поднимается дыхание у человека, который много раз повторял одно и то же слово, пока оно не стало частью крови: «Господи Иисусе Христе...» Но почти сразу, без всякой воли с его стороны, вместе с этими словами вспыхнуло другое — запах табака, улицы, дешёвой жвачки, промозглого подъезда. И вслед за запахом пришёл отец.

Не тот, которого принесли к нему в коробке чужих вещей. Не тот, о котором предстояло читать. А прежний, из детства: широкий, слишком живой, с глазами, в которых всегда было чуть больше смеха, чем следовало бы. Он наклонился, положил тяжёлую ладонь Алексею на затылок — не ласково и не грубо, а так, словно ставил знак принадлежности, — и сказал почти по-дружески:

— Ты мужик, понял?

От этого прикосновения у мальчика сжалось горло. Не от боли. От того, что на такие слова нельзя ответить неправильно. Мать в это время стояла у окна спиной к ним, будто рассматривала двор, и не обернулась. Именно тогда Алексей, кажется, впервые почувствовал, что можно быть одному даже в комнате, где есть ещё двое взрослых.

Память повернулась дальше, без предупреждения.

Кухня в девяностые. Стол, липкий от чая и дешёвого варенья. Пустая банка из-под кофе, набитая окурками. Отец смеётся слишком громко, и этот смех, ударившись о потолок, будто гложет, не находя выхода. Мужчины говорят быстро, с какими-то полусловами и намёками, и мальчик не понимает смысла разговора, но очень ясно чувствует его форму: вопросы задавать нельзя. Лучше сидеть тихо. Лучше быть пылью на подоконнике. Лучше, чтобы тебя не замечали.

Отец Алексей вздрогнул и сильнее сжал чётки. И с неожиданной ясностью понял: его нынешняя монастырская сдержанность, привычка не выносить наружу лишнего, не всегда была добродетелью. Когда-то она началась как детский способ выжить. Молчать, чтобы не стать мишенью. Молчать, чтобы не попасть под настроение. Молчать, чтобы не оказаться втянутым

в то, чего не понимаешь и чего боишься. Потом это молчание стало характером. Потом — образом жизни. А потом притворилось чистотой.

Слово «чистота» прозвучало в нём насторожённо, как шаг по тонкому льду. Он так долго держал себя в этой внутренней правильности, что она превратилась не просто в правило, а в опору. И опора эта была удобной и страшной одновременно. Пока отец оставался «таким», а он — «другим», всё можно было держать разложенным по полкам. Пока отец был тенью, а он — человеком света, не надо было заглядывать в середину. Не надо было задаваться вопросом, сколько в его чистоте любви, а сколько страха.

Но рукопись на столе лежала не как тень. Она лежала как вещь, требующая ответа.

Он потянулся к ткани и чуть плотнее накрыл изображение, спрятанное под ней. Ему не хотелось сейчас спорить ни с отцом, ни с собой, ни с теми словами, к которым он пока не готов был прикоснуться. Ему нужно было удержать внимание на одном: это отцовское. Это не экзотика, не чужая религиозная диковина, не предмет для отстранённого рассуждения. Это часть жизни человека, от которого он так долго защищался.

Отец Алексей открыл рукопись. Бумага была плотной и чуть шероховатой. Чернила местами как будто продавили лист — так пишут люди, которые не вполне доверяют словам, но всё-таки хотят, чтобы их слышали. На обложке стояло: «Блаженный. Записки падшего». Он задержал взгляд на слове «падшего» и почувствовал, как внутри поднимается знакомая волна. Стыд. Быстрый, собранный, почти деловитый. Стыд не плакал и не жаловался. Он строил стену.

И тут вдруг стало видно, как именно он работал все эти годы. Стыд давно уже научился маскироваться под благочестие. Он помогал держать линию, не подходить близко, не давать отцу места в собственной судьбе, не позволять себе ни мягкости, ни жалости, ни живого интереса. Стыд говорил голосом порядка: так правильно. Так чище. Так надёжнее. Но под этим строгим голосом жила обычная дрожь — страх правды и страх любви. Потому что правда могла оказаться не такой удобной, как вынесенный приговор. А любовь почти всегда приходит не туда, где всё разложено по полкам.

Он вспомнил ещё один эпизод, один из тех, что годами всплывают в памяти не целиком, а отдельным ощущением.

Кладовка в их старой квартире. Темно, пахнет картошкой, старой краской и ещё чем-то тяжёлым, неуютным. Отец ставит туда какие-то пакеты — не магазинные, без ярких надписей, тугие, будто набитые чем-то плотным. Говорит коротко, без угрозы, но так, что спорить невозможно:

— Не лезь.

Алексей тогда не «участвовал» ни в чём. Он просто отступил. И запомнил. Рядом есть мир, о котором не спрашивают. Мир отца стоит за тонкой стеной, и лучше к нему не подходить. Теперь он не помнил, что было в тех пакетах. Память сохранила не содержимое, а чувство: рядом всегда существовало что-то непрозрачное, и он с детства учился обходить это стороной.

«Я ушёл в монастырь не только к Богу», — подумал он с внезапной горечью. — «Я ушёл от него».

От отцовского табака на пальцах. От слишком громкого смеха. От опасных недоговорённостей. От материнской спины у окна. И если быть честным до конца — от собственной растерянности, которую он тогда называл презрением, а позже стал считать трезвостью.

Чётки в руке потеплели. Он перебирал узелок за узелком и чувствовал, что держится за них почти по-детски, словно за поручень, чтобы не упасть в собственную память. Молитва шла внутри тихо, как дыхание: «...помилуй меня». Не его. Не отца. Меня. Потому что сейчас суд происходил не над умершим человеком по имени Андрей. Суд происходил над той внутренней конструкцией, на которой сам отец Алексей простоял много лет: я правильный, а он нет. На этой разнице держалось слишком многое — и его спокойствие, и право не объяснять, не прощать, не подходить ближе. Даже монашество отчасти держалось на этом противопоставлении: я выбрал свет, потому что видел тьму.

И тут в нём поднялся вопрос, которого он избегал годами:

а что, если тьма была не только там?

Он склонился над рукописью и начал читать. Не только глазами — всем телом, как читают письмо, после которого уже нельзя остаться прежним.

Первые строки были простыми, почти разговорными. В них не было никакой попытки понравиться, никакой поздней мудрости, никакого желания смягчить прошлое красивыми словами. И именно поэтому в них слышался живой голос. Не оправдывающийся. Не театральный. Отец писал так, будто сидел напротив него на кухне и наконец перестал смеяться слишком громко, чтобы не было страшно.

«Лёша. Я не знаю, как к тебе правильно обращаться. Сын — вроде близко, а я сам себя не всегда к этому слову подпускал. Писать буду как умею. Без умных слов. Я их в жизни много слышал, а толку...»

Отец Алексей замер. Его поразило не содержание, а тон. В этих строках не было привычного отцовского нажима. Не было того «ты мужик, понял?», которым в детстве заколачивались все щели между людьми. Вместо этого звучала осторожность человека, не уверенного, что он имеет право на близость, но всё же делающего шаг.

И от этого осторожного «Лёша» у него вдруг болезненно сжалось внутри. Не от гордости и не от презрения. От чего-то более старого и более беззащитного: от той детской надежды, которую он когда-то закопал под стыдом, чтобы не болела.

Он прочитал дальше.

«Я не буду тебе рассказывать, что я хороший. Я и сам знаю, сколько во мне было грязи. Но я хочу, чтобы ты понял одну вещь: Бог меня не бросил. И если тебе кажется, что таких, как я, нельзя вытянуть — я тоже так думал. Пока не увидел, что милость приходит не к тем, кто заслужил...»

Слово «милость» прозвучало в келье как чужое и одновременно странно родное. Внутренняя строгость сразу подняла голову, будто хотела предупредить: осторожно. Но поверх этого, тише и упрямее, шло другое движение: слушай. Не соглашайся заранее. Не возражай заранее. Просто слушай.

Он вдруг понял, что дышит уже глубже. И что ткань, брошенная на спрятанное изображение, не спасает его ни от чего. Она лишь напоминает: есть часть правды, которую он пока держит под рукой, но не готов вынести на свет.

Ему захотелось закрыть рукопись. Не от отвращения. От страха. Если он дочитает, то уже не сможет вернуться к прежнему удобному расстоянию, к прежней выверенной холодности, к той чистоте, за которую человек не платит сердцем.

Он столько лет говорил себе, что не имеет права впускать отца в свою нынешнюю жизнь. Но теперь впервые усомнился: а не прячется ли за этим «не имею права» простое и малодушное «не хочу, чтобы было больно»? Не хочу, чтобы он оказался живым. Потому что мёртвого судить легче, чем живому ответить.

Отец Алексей опустил взгляд на чётки в своей руке. Узелки были как ступени. И каждая ступень безмолвно спрашивала его об одном и том же: ты правда хочешь быть честным?

Он снова посмотрел на рукопись и понял, что будет читать. Не ради любопытства. Не ради того, чтобы найти подтверждение старому приговору. А как последнюю обязанность перед умершим — и, может быть, перед тем мальчиком на кухне, который когда-то научился быть незаметным.

Он наклонился ниже и прочитал следующую строку. И вместе с ней к нему, словно из глубины, шагнул отец — уже не громкий, не чужой, не заслонённый собственной бравадой:

«Помнишь, как я говорил тебе: „Ты мужик, понял?“ Я тогда думал, что учу тебя жить. А на самом деле я учил тебя бояться меня...»

Глава 3. Голос Андрея

В келье стояла такая тишина, что слышно было, как стареет дерево: в углу едва поскрипывал шкафчик, а занавеска на подоконнике шевелилась под собственной тяжестью, точно и ей было трудно удерживать форму. Отец Алексей сидел за столом, где всё было расставлено правильно: молитвослов справа, карандаш вдоль края, рукопись ровно посередине — как чужая вещь, которую принесли и велели принять.

Ещё в первый вечер, когда коробка открылась и из неё поднялся запах старой бумаги, металла и слежавшейся ткани, он подумал: это не про меня. Не мой воздух. Не моя жизнь. Он успел тогда прочитать несколько строк, закрыть тетрадь и отложить её так, как откладывают письмо, которое может испортить весь день. Но ничего не произошло. Наоборот: стоило рукописи исчезнуть из-под рук, как она начинала звучать внутри ещё настойчивее.

Он открыл тетрадь на том месте, где остановился ночью, — на полуслове, на запятой, словно Андрей, писавший это когда-то, тоже не всегда выдерживал собственную память до конца и иногда был вынужден перевести дыхание. Бумага шуршала сухо и упрямо. Чернила местами расплывались, точно страницу трогали влажными пальцами. Почерк отца был резкий, чуть наклонённый, без всякого желания понравиться. Он писал так, будто ему было не до красоты; будто главное — успеть сказать, пока голос ещё держится.

И этот голос, не звуковой, а внутренний — голос привычек, оборотов, мужицкой прямоты, — уже успел поселиться в отце Алексии. Стоило раскрыть рукопись, и в нём сразу начинало отзываться что-то, против чего он долго и упрямо строил внутреннюю защиту.

«...в конце восьмидесятых я думал, что живу. На самом деле я бегал. Бегал от скуки, от бедности, от того, что внутри пусто и стыдно. Мне казалось, что если рядом опасно, значит, я настоящий».

Отец Алексей прочитал эти строки медленно, не позволяя себе торопиться. Он хорошо знал собственную дурную привычку: искать в каждом признании формулировку, за которую можно ухватиться, как за доказательство. Вот сейчас, думал он, будет что-нибудь удобное — такое, что вернёт старое право на холодность: он был плохим, я не ошибался. Сейчас появится бравада, или жалоба, или то особое мужское самооправдание, которым люди иногда прикрывают самые тёмные страницы своей жизни.

Но Андрей не давал ему этого удобства.

«Мы называли это работой. Там были деньги, машины, чужие квартиры, чужие страхи. И был постоянный голод — не желудка, а головы. Когда адреналин уходит, остаётся мерзость, и ты снова лезешь туда, где больно, чтобы не слышать себя».

Отец Алексей почувствовал, как у него напряглись плечи. Он будто ждал отца в привычной роли — громкого, грубого, почти карикатурного, такого, какого удобно не любить. Но рукопись писалась человеком, которому уже надоело притворяться перед собой. И эта честность раздражала сильнее любого бахвальства. От бравады можно отмахнуться. От исповеди — почти никогда.

Он перевернул страницу. Бумага снова сухо прошуршала. На полях виднелись короткие пометки, как будто Андрей иногда спорил сам с собой или одёргивал себя прямо на ходу: «не ври», «не оправдывай», «помни». На последнем слове отец Алексей задержал взгляд дольше, чем хотел. Слово было написано с таким нажимом, будто человек боялся именно этого — забыть, как всё было на самом деле, и подменить правду удобной версией самого себя.

«Я думал, что страх — это слабость. А страх был у нас главным. Он сидел в каждом разговоре, в каждом звонке, в каждом взгляде. Просто мы кормили его агрессией, чтобы он не показывал зубы».

Отец Алексей невольно коснулся своих чёток. Они лежали рядом с молитвословом, тёмные, привычные, тёплые от руки. И почти одновременно — словно рука двинулась сама, отдельно от его воли, — он потянулся к длинным деревянным чёткам из коробки. Пальцы встретили гладкое дерево, чуть шероховатое на стыках, и он резко отдернул руку, будто действительно обжёгся.

Страх, вспыхнувший в нём, был почти нелепым. В келье никого не было. Никто не мог увидеть этого движения. И всё-таки он почувствовал себя так, словно его поймали на чём-то постыдном. Он крепче сжал свои чётки, так что узелок больно врезался в кожу, и только тогда заметил, насколько напряжённо дышит.

«Господи, дай не врать себе», — подумал он и сразу же смутился этой мысли: она показалась ему слишком готовой, слишком правильной, как будто он заранее подбирал красивую фразу для собственной внутренней драмы. Но ничего красивого тут не было. Он действительно не хотел врать себе. Впервые за долгое время — не хотел.

Рукопись вела его дальше, в те годы, о которых в его памяти осталась одна глухая пустота, обведённая чужими фразами: «отец пропал», «отец сел», «не спрашивай».

«Я не был героем. Я был человеком, который перестал отличать нужду от жадности. Я мог улыбаться матери, а через час стоять в подъезде и ждать, когда откроют дверь. Я мог думать о сыне и в ту же ночь делать то, за что меня потом будут ненавидеть. Это и есть самое страшное — когда в тебе живут два человека, и оба считают себя правыми».

От слова «сын» у отца Алексея тихо дрогнуло что-то под рёбрами. Не боль даже — скорее старое, давно забытое движение, как если бы в стене, стоявшей много лет, вдруг прошёл первый тонкий треск. Он хотел перескочить через эту строку, не задерживаться, не давать ей права действовать на него. Но взгляд упрямо вернулся. Значит, думал. Значит, он существовал в отцовской голове не как неудобная случайность, не как побочный эффект беспокойной жизни, а как кто-то, о ком можно думать в самую грязную и тёмную пору своей биографии.

И тут, как бывает от одного запаха или случайного звука, в память вошло детство — не картинкой даже, а ощущением.

Рынок. Теснота. Гул голосов, пахнущий рыбой, мокрым картоном, парфюмом с дешёвых лотков. Он маленький, в куртке не по росту. На секунду отворачивается на яркую игрушку, а когда снова ищет глазами знакомое лицо, понимает, что его рядом нет. Люди идут мимо, чужие сумки задевают локти, чужие колени мелькают перед глазами, и воздух вдруг становится не просто холодным — чужим, как будто мир выдохнули не для него. Тогда он не заплакал сразу.

Сначала он онемел. Как будто внутри выключили звук. А потом страх хлынул весь разом, и огромный рынок стал таким же страшным, как тёмный подъезд.

Он помнил это чувство не как образ, а как физику: ощущение, что ты остался без своих, и правила больше не работают.

Андрей писал о другом — о деньгах, насилии, страхе взрослого мужчины, привыкшего быть сильным. Но отец Алексей вдруг понял: сама сердцевина там одна и та же. Потерянность. Только ребёнок переживает её молча, а взрослый часто начинает бить мир кулаком, чтобы самому не заплакать.

Он перевернул ещё страницу.

Наверху стояла дата.

1995.

Она была написана отдельно, почти как печать. Не между делом и не как часть литературного ритма, а как документальная отметина. Не «когда-то», не «в девяностых», а именно так: 1995. Год, который в семье всегда обозначали расплывчато: тогда, после, когда он исчез. Отец Алексей провёл пальцем по цифрам, не касаясь чернил, будто и теперь боялся испачкаться тем, что уже давно сидело глубже любых прикосновений.

«В 1995 меня взяли. Не красиво, не киношно. Утром я ещё думал, что выкручусь, а вечером уже сидел на лавке и смотрел на свои руки, как на чужие. Самое странное — ты сразу понимаешь, что теперь не принадлежишь себе. Тебя будут вести, сажать, поднимать, считать. И ты можешь сколько угодно злиться, но злость тут ничего не решает».

Дальше Андрей писал про этап. Про запах железа. Про тесноту. Про чужие тела рядом. Про то, как быстро человек привыкает к унижению, если понимает, что выбора нет. Он ничего не сгущал, не смаковал, не делал из ареста легенду о своей крутизне. Он просто называл вещи своими именами — и от этого в тексте было больше ужаса, чем было бы от любой нарочитой мрачности.

Отец Алексей ждал привычного: вот сейчас появится самооправдание, какая-нибудь старая мужская хитрость, с помощью которой преступник делает из себя жертву обстоятельств. Но Андрей снова писал не туда, куда вела ожидаемая логика.

«Я боялся не срока. Я боялся, что умру там и даже не пойму, кем был. Что так и уйду — злой, пустой, с привычкой давить, чтобы не задавили тебя. Я боялся умереть не человеком».

Эти слова не ударили. Они легли тяжело и ровно, как тяжёлый предмет, который ставят на стол и больше не убирают. Отец Алексей закрыл глаза. И не почувствовал ни осуждения, ни сладкой жалости, которая всегда чуть высокомерна. Возникло другое — тяжёлая, почти телесная жалость, как когда смотришь на человека, провалившегося в ледяную воду, и понимаешь: он сам туда зашёл, но от этого вода не стала менее холодной.

Он открыл глаза.

В келье всё было на месте: стол, лампа, молитвослов, рукопись, чётки, ткань, которой всё ещё было накрыто спрятанное изображение. Но внутри что-то сместилось, и от этого даже привычные предметы стали ближе. Не по расстоянию — по смыслу. Он снова коснулся своих чёток, уже мягче, и заметил, что пальцы дрожат.

«Не романтизируй», — сказал он себе. — «Не делай из него мученика».

И почти сразу, как ответ, возникло другое:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.